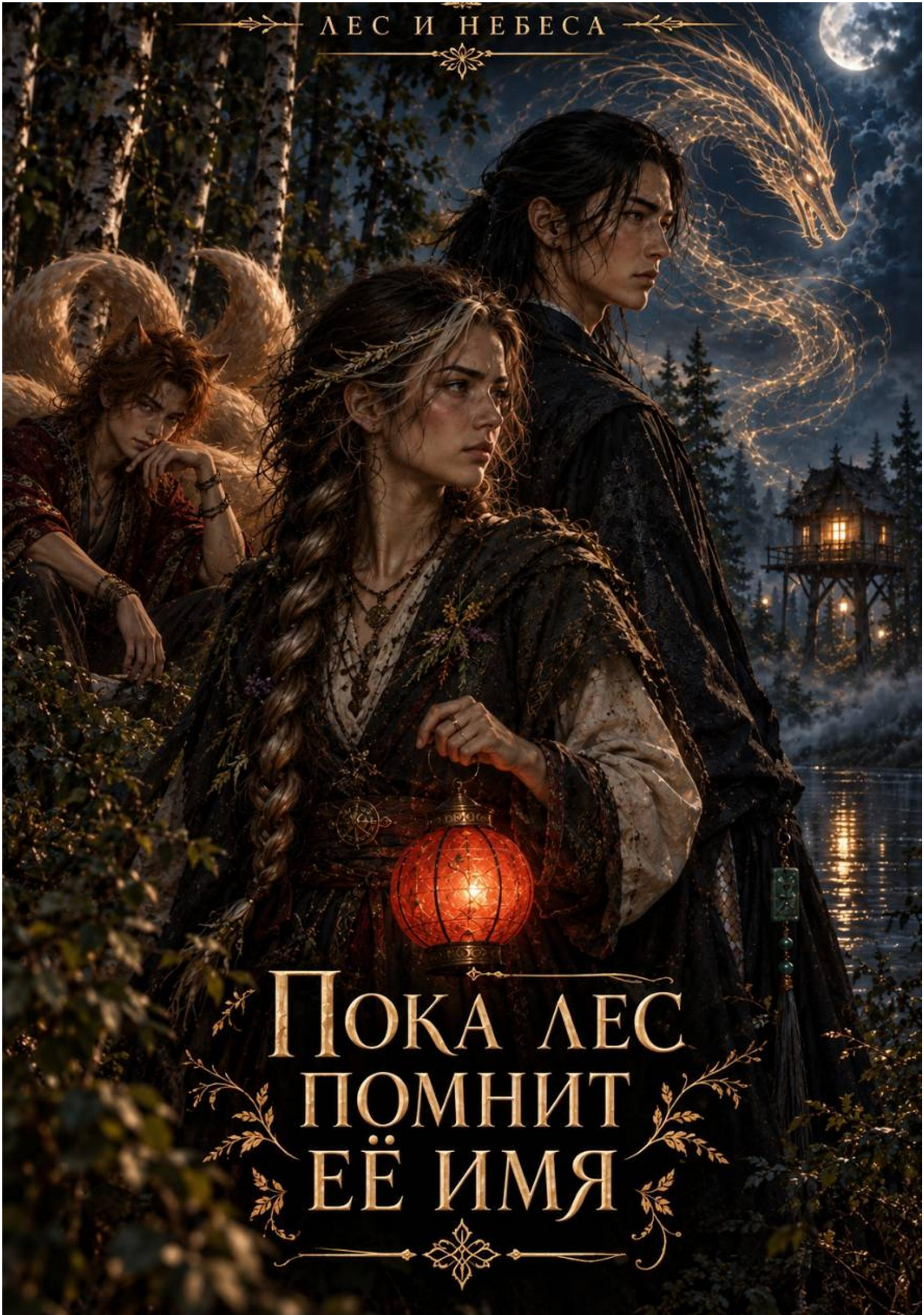

ЛЕС И НЕБЕСА
Пока лес помнит её имя

Анаска Беглова

Лес и Небеса. Пока лес помнит её имя

«Автор»
2026

Беглова А.

Лес и Небеса. Пока лес помнит её имя / А. Беглова — «Автор», 2026

Она варит зелья, спорит с домовым и не пускает в сердце лишних — а потом просыпается и понимает: лес её не узнаёт. Кто-то украл её настоящее имя, а вместе с ним — память о себе. У неё сорок дней, чтобы найти вора, пока лес ещё её помнит.В поисках ей против воли помогает дракон — суровый хранитель древнего договора и чужой тайны, стоившей ей всего. А ещё есть лис — обаятельный, неуловимый, и явно знающий куда больше, чем говорит. Между ними — не только тайна имени, но и то, что искрит сильнее любой грозы.Slow burn, восточная и славянская мифология, имя, которое нельзя произнести вслух — и лес, который помнит всё, даже то, что забыла сама героиня.

© Беглова А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. День 1 5
А вы к кому? 5
Глава 2. День 2 10
Лес не в курсе 10
Конец ознакомительного фрагмента. 14

Анаска Беглова
Лес и Небеса. Пока лес помнит её имя

Глава 1. День 1

А вы к кому?

В то утро я не поставила чайник.

Это была первая ошибка. Все остальные оказались просто последствиями.

Обычно ставлю его, не открывая глаз. Сползаю с печи, нашариваю ногами тёплые половицы, три шага до стола, и рука сама находит ручку. Делается это так давно, что уже не вспомнить, каково было иначе. Чайник у меня медный, с чеканкой по бокам и носиком в виде птичьей головы, и стоил он совершенно неприличных денег. Единственная покупка, о которой можно сказать: ни о чём не жалею. Обо всех остальных лучше промолчать.

Но в то утро разбудил не рассвет, а тишина.

В избе никогда не бывает тихо. Половицы скрипят, огонь в печи шепчется сам с собой, в углах что-то роняют, двигают и обиженно вздыхают. Изба на курьих ногах просыпается раньше хозяйки: сначала встряхивает крышей, потом переступает лапами, проверяя, на месте ли овраг, и только потом позволяет жить остальным. В то утро она не потянулась. Стояла ровно, притихшая, точно прислушивалась к чему-то за стенами.

Тишина в моём доме значит одно из двух: либо кто-то умер, либо кто-то обиделся. Умирать в избе без моего разрешения не принято, значит, обиделся домовой. Выяснять, чем именно, надо было немедленно. Чайник пришлось отложить на потом.

Спускалась осторожно, с кряхтением, по пути машинально проведя ладонью по связке сушёного чертополоха над дверью — не глядя, не думая, просто так, как крестятся по привычке люди, давно забывшие, зачем крестятся. Чертополох висел там не для красоты: без него всякая мелкая нечисть, что пошустрее, повадилась бы таскать по ночам соль и путать нитки в прялке. Выгляжу-то я в самом расцвете, но спина явно считает иначе, и у неё есть на это основания.

Изба у меня не то чтобы уютная, зато тёплая. Под потолком сушатся пучки зверобоя, тысячелистника и ещё кое-чего, о чём при домовом лучше не заикаться. На полках стоят банки с давно выцветшими этикетками: всё равно узнаётся каждая на ощупь. А на самой верхней полке, куда без табуретки не дотянуться, стоят слабости: шкатулка с эмалевой птичкой на крышке, три веера, гребень, которым невозможно причесаться. Красивые вещи, совершенно бесполезные. Слабость, знаю. И цену ей знаю. И всё равно покупаю, обмениваю, собираю.

Домовой сидел на лавке у печи. Ростом он с табуретку, бородой шире плеч, вечно в саже и вечно чем-то недоволен. Обычно с утра он уже на ногах и уже в претензиях: то сквозняк, то каша пересолена, то хозяйка храпит, «как леший в спячке, а всё отпирается». Живём вместе так давно, что счёт потерян. Дрова он таскает сам, за молоко, и жалуется вслух не чаще раза в час.

Меня иногда спрашивают, не скучно ли одной в лесу. Ну, то есть спрашивали бы, если бы кто-нибудь решался. Мужчина в доме мне зачем? Дрова таскать? Дрова таскает домовой и не просит взамен ничего, кроме молока.

Сегодня он сидел, сложив руки на коленях, и смотрел на дверь. И сидел прямо.

Вот тогда стало неспокойно. Домовые не сидят прямо. Домовой, который сидит прямо, либо болен, либо ждёт гостей, либо собирается сообщить что-нибудь ужасное. Какой из трёх вариантов хуже, определить не удалось.

Он услышал шаги, повернулся, встал и поклонился. Поклонился! Мне! Ни разу за все эти годы ничего подобного не случалось.

— Доброе утро, — сказал он. — Вы к кому?

Пауза. В этом месте он обычно моргает, хмыкает и требует молока, потому что вечером про него опять забыли. Он не моргнул. Стоял и смотрел с вежливым ожиданием, каким смотрят на прохожего, спросившего дорогу.

— Очень смешно, — сказала я. — Молока сегодня не будет.

— Простите?

— Молока. Ты остался без молока. Шутка не удалась.

Домовой посмотрел с сочувствием, как смотрят на человека, который вдруг заговорил с печкой.

— Я не шучу, — сказал он. — Мы, домовые, вообще не шутим. У нас на это нет положенного устройства.

Правда. Чувство юмора у домового примерно как у печной заслонки: вроде бы есть, но срабатывает раз в сто лет и по ошибке. Утешения в этом не нашлось. Внутри что-то очень тихо, очень медленно начало холодеть, как вода в ведре, когда за ночь потухла печь.

— Хорошо, — сказала я. — Тогда серьёзно. Я здесь живу.

— В избе? — Он оглядел стены, словно изба могла возразить. — Нет, что вы. Здесь никто не живёт. Здесь... — он нахмурился, — ...есть хозяйка. То есть должна быть.

— Ну?

— Её сейчас нет. Ушла, видимо. Она всегда возвращается.

— И как она выглядит?

Он открыл рот. Закрыл. Посмотрел на печь, на метлу за печью, на сапоги у порога, брошенные там вчера, и лицо у него сделалось таким, что вопрос захотелось забрать обратно. Так выглядит человек, который лезет в карман за ключом и находит там дырку.

— Странно, — сказал он тихо. — Метла её. Сапоги её. Молоко мне в углу на ночь ставит она. А какая она... — Голос у него вдруг стал маленьким. — Вы не подскажете? Я тут всё время хожу мимо чего-то и никак не поймаю.

— Это я, — сказала я. — Я и есть хозяйка.

Он вгляделся с мучительным вниманием, как вглядываются в надпись на стёртой монете. Хотелось, чтобы прочёл, и хотелось так сильно, что тело само подалось вперёд, а вся злость, вся язвительность, весь привычный панцирь оказались ни к чему. Только бы узнал.

— Нет, — сказал он наконец, очень мягко. — Простите. Вы, наверное, ошиблись избой. Такое бывает, особенно с утра. Хотите, провожу до тропы? Только тихо: хозяйка не любит, когда по избе ходят чужие.

— Ах ты ж кочерыжка печная, — тихо сказала я.

Когда принимают за кого-то другого, это раздражает. Когда делают это вежливо, ещё хуже. Вежливость всегда первый признак того, что дело плохо.

— Хорошо. Давай проверим. Что хозяйка ест на завтрак?

— Кашу, — не задумываясь, ответил он. — С солью, без сахара, сахар она называет баловством. Сама варит, а я стою над душой и говорю, что пересолила.

— Что пьёт?

— Настой. Зверобой с мятой, слишком горячий. Обжигается, ругается, снова пьёт.

— Где спит?

— На печи. Левый край, где потеплее, хотя правый ей нравится больше. — Сказано это было с такой нежностью, что стало не по себе.

— И всё это, — сказала я, — я. Ты описал меня с точностью до ругани.

— Нет, — терпеливо ответил домовой. — Вы стоите здесь и рассказываете мне про хозяйку. Хозяйка бы уже пила настой.

Возразить нечего. Против такого довода помогает только чайник, а чайник оставался на потом.

Зашла с другой стороны.

— Зиму, когда лопнула труба и нас засыпало по самую крышу, помнишь? Молока осталось на одно блюдце. Поставила тебе в угол, а сама пила кипяток, и ты потом три дня делал вид, что ничего не заметил.

Он слушал очень внимательно. Даже подался вперёд. Потом виновато развёл руками.

— Красивая история, — сказал он. — Жаль, не помню.

Это «жаль» ударило сильнее смеха. Он не издевался и не притворялся: правда жалел. Смотрел с сочувствием, каким одаривают чужого человека, которому хочешь помочь и не знаешь как, и от этого стало так одиноко, что закружилась голова. Всю жизнь твердилось: мне никто не нужен. Оказывается, легко говорить, пока есть кому ответить: «А молоко где?»

Дальше по порядку, как учили: от простого к страшному.

Первая догадка: шутка. Отпала.

Вторая: сон. Ущипнула себя за руку. Больно. Старый ожог на левой ладони, память об одном неудачном зелье, заныл, как ноет всегда к перемене погоды. Значит, тело настоящее, и это не сон. Правда, самые убедительные сны именно так и устроены.

Третья: чары. Обход избы: соль на пороге лежит ровной линией, обереги гудят тихо, как обычно, нож под лавкой на месте. Тогда сказала то, что говорится каждое утро, только громче:

— Избушка, повернись к лесу!

Изба вздохнула, переступила куриными ногами, и пол качнулся, как палуба. Печь скрипнула, банки на полках звякнули хором. Слушается! Радость длилась секунду: изба вдруг опустила один угол и ткнулась в хозяйку стеной, как большая виноватая птица тычется в ладонь. Она просила почесать.

Косяк тёплый, шершавый, пахнет смолой и старым дымом. Захотелось прижаться щекой и не отпускать. Изба тихо, по-куриному, заквохтала половицами.

— Она и не такое делает, — заметил домовой, хватаясь за печь. — Ей всё равно, кто просит, лишь бы не орали и чесали.

Вот и весь мой почёт.

Значит, обереги на месте, соль на месте, изба на месте. Всё на месте, кроме людей. То есть домового.

В ведре с водой, куда наклонилась умыться, отразилось лицо: скулы, седая прядь у виска, брови, вечно чуть недовольные. На миг контуры поплыли, словно кто-то провёл по воде пальцем. Моргнула, и лицо встало на место. Не выспалась, мало ли.

Оставалась последняя проверка, и откладывалась она как могла.

В лесу зовут Ягой. Так называют всякую, кто сидит на этом месте, как «воеводой» называют всякого, кто ведёт войско, только с избой в придачу. Это должность. А ещё есть имя, настоящее, то, что было до избы, до леса, до всего этого. Его не произносят. Им подписывают договоры, как печатью: приложил, и слово твоё навсегда, и с тебя спросят, и ты спросишь. Вслух оно не звучало очень давно, но всегда было при мне, как язык во рту.

Ну что ж. Раз домовой не узнаёт, надо представиться по всей форме, с именем, как положено. Даже он обязан признать имя, сказанное как следует.

Расправила плечи, набрала воздуха.

И споткнулась.

Так бывает на тёмной лестнице: нога ищет ступеньку, а её нет, и на мгновение повисаешь в воздухе. Имя есть. Было. Но самого имени не было. Так ищешь языком зуб, которого больше нет: место осталось, ощущение осталось, а зуба нет.

Ещё раз. И ещё. Пустота гладкая, без краёв, и даже не болит. Вот что оказалось страшнее всего: не болело совсем.

Всё остальное было при мне. Помнилось, сколько зверобоя класть в мазь от суставов, кому в лесу должна и кто должен, даже за что на прошлой неделе поругалась с лешим. Не было ровно одного. Но именно оно держало всё остальное, как шпилька держит весь узел.

Рука потянулась к чайнику, просто чтобы чем-то занять пальцы. Он стоял на столе, холодный и красивый. Пальцы дрожали. Пришлось убрать руку и спрятать под мышку, как прячут то, чего не должны видеть.

— Вам нехорошо? — спросил домовой.

Он подошёл ближе, помялся, потом подтащил свою единственную табуретку и подставил под колени.

— Присядьте. Только не на печь, пожалуйста. Там её место.

Села. Домовой остался стоять рядом и не знал, куда девать руки. Жалости не терплю, но выяснилось, что когда жалеют вот так, от чистого сердца, не понимая, кого именно, отмахнуться нечем.

Остаток дня ушёл на попытки вернуть то, чего не было.

Сначала длинная верёвка у двери, на которой висели бирки. Сотни деревянных палочек, с зарубками и своим узором каждая: договоры. С болотником, с водяным, с лешачатами, с кикиморой, с ёжиком, у которого пять поколений подряд были долги перед мазью. Пересчитываются они в первый снег, и каждый раз в груди что-то тихо успокаивается. Сейчас висели на месте, целые, тёплые от печи. Значит, слово ещё держало. Значит, существование продолжалось где-то там, где жили долги. Пальцы скользили по зарубкам, и понемногу отпускало.

Потом чистая бирка, нож, новая зарубка, чтобы скрепить её именем. Нож вошёл в дерево. Зарубка легла. И тут же, на глазах, затянулась, как затягивается рана на молодой берёзе. Дерево не приняло то, чем хотели его скрепить. Нечем было.

Потом настой из яснотки и полыни, тот, что возвращает забытое, выпитый до дна. Горький, как обида, и ничего не вернувший.

Потом просьба к домовому: вспомнить. Долго сидел, закрыв глаза, морщил лоб, шевелил бородой, старался. Наконец открыл глаза, и в них было столько вины, что просьба показалась жестокой.

— Простите, — сказал он. — Я бы очень хотел. Правда.

— Знаю, — сказала я. — Не мучайся.

К вечеру стало ясно, что до утра ничего не сделать. К лешему на ночь глядя не ходят: лес по ночам принадлежит тем, кто не любит гостей. Оставалось дождаться рассвета, а тяжелее такого ожидания в жизни случалось мало.

Когда стемнело, достала блюдце, налила молока и, как каждый вечер, поставила в угол за печью. Просто по привычке. Домовой стоял у печи и смотрел. Лицо у него стало непонятным.

— Это... мне? — спросил он.

— Тебе.

— От кого?

— От меня. Всегда ставлю. Ты просто не помнишь.

Он подошёл к блюдцу. Постоял, будто боялся, что оно исчезнет. Потом взял блюдце в руки, отпил, зажмурился.

— Спасибо, сударыня, — сказал он тихо. — Очень вкусное. Не знаю почему, но кажется, что это самое вкусное на свете.

Плакать при свидетелях не хотелось. Вышла на крыльцо, села на нижнюю ступеньку и смотрела, как темнеет лес. На заборе, там, где всегда, сидел ворон. Чёрный, крупный, неподвижный. Он сидит там, когда плохо, и ни о чём не спрашивает, а в ответ не спрашивают его. У нас давнее взаимное понимание. Сегодня он смотрел чуть дольше обычного, а потом повернул голову и отвернулся к лесу, как отворачиваются из деликатности.

Когда вернулась в дом, на печи уже стоял чайник.

Его поставил домовой. Он не сказал ни слова: налил воды, поставил на огонь и ушёл в тень за печью. Вода закипела. Пар поднимался ровной белой струйкой, медный бок чуть светился, а посреди избы стояла хозяйка, не в силах подойти.

Чайник закипел. Налила себе настоя и пила медленно, потому что впервые за много лет чайник поставила не я, и как к этому относиться, было непонятно.

Глава 2. День 2

Лес не в курсе

Лес знаю, как собственную ладонь. Знаю, где тропа ныряет под корень, где мох сыреет перед дождём, где растёт единственный в округе гриб, которому можно доверять. От избы до поляны лешего сорок минут ходу, если не отвлекаться на грибы. Хожу этой дорогой давно, с перерывами на ссоры.

Изба проводила на рассвете вздохом и осталась у оврага, поджав лапы. «Сиди, скоро вернусь», — сказала ей. Она сделала вид, что поняла, а сама смотрела вслед, как смотрит пёс, которого не взяли на охоту. Пришлось оглянуться дважды.

Через полчаса вышла к той же осине, от которой начинала.

— Ладно, — сказала я осине. — Посмеялись, и хватит.

Осина промолчала. Осины вообще разговаривают только по праздникам. Пошла другой тропой, потом третьей, потом напрямик через бурелом, что для женщины моего достоинства занятие оскорбительное. Через час снова стояла под той же осиной, с репьями в косе и очень ясным пониманием происходящего.

— Шишига подколодная, — сказала лесу. Лес сделал вид, что не расслышал.

Лес водил.

Так водят чужих: грибников, заплутавших, пьяных из соседней деревни. Тропа поворачивает не туда, поляна оказывается той же поляной, солнце садится с неправильной стороны. Не со зла, а для порядка. Кто не назвался, тот не гость, а кто не гость, того лес любезно провожает подальше от дома. Хозяйку он не водил никогда. Хозяйка, между прочим, живёт здесь дольше, чем эта осина растёт. Хозяйка обижена.

Села на корень, обхватила колени и впервые за утро позволила себе почувствовать то, что давилось с самого пробуждения. Обиду. Не ярость, не страх, а самую простую, детскую обиду: так вот, значит, как. Столько лет выхаживала эту чащу, лечила её зверьё, латала её мосты, ругалась с её хозяином, а она смотрит и не видит. Как будто всё это было не с ней. Как будто никого не было.

Лес не злится. Он просто больше не знает, кто я.

Оставался один способ, забытый со времён ученичества. Так делают заплутавшие грибники, а им бабка в детстве рассказывала: леший водит по кругу тех, кто одет по-людски, а того, кто ходит в вывернутой рубахе и с перепутанной обувью, принимает за своего и отпускает.

Вывернула рубаху швами наружу прямо на тропе и поменяла сапоги местами: левый на правую ногу, правый на левую. Почему это помогает, не знаю; думаю, лешим просто неловко на такое смотреть. Стоять посреди леса в таком виде было унижением, которого никому бы не простила, кроме себя. Себе прощала со скрипом.

Пять шагов, хромая, как хромает любой в перепутанной обуви, и тропа развернулась, как скатерть: прямая, утоптанная, знакомая. Лес ответил на вывернутую рубаху, а не на меня. Во рту стало горько.

На тропе встретилась сорока. Обычно она поджидает у калитки и норовит утащить хоть что-нибудь блестящее: пуговицу, ложку, серёжку. Воюем с ней столько лет, что известна каждая её уловка. Достала из кармана серебряную ложку и подержала на ладони. Сорока сидела на ветке и смотрела чёрным, круглым, вежливым глазом. Ложку не взяла. Постояла, склонив голову, и улетела, как улетает птица от чужого человека. Вот когда забыли по-настоящему: даже воры не оглядываются.

Через двадцать минут вышла на поляну.

Леший сидел на поваленном стволе и чистил ногти щепкой. Выглядит он всегда так, будто вырос вместе с деревом, на котором сидит: высокий, косматый, борода в мху, на плечах кора. Обувь у него, как положено, перепутана: левый лапоть на правой ноге. Впервые в жизни мы с ним были одеты одинаково.

Он поднял голову и посмотрел на мои сапоги. Потом на рубаху. Потом снова на сапоги.

— День добрый, — сказал он. — Вы, простите, кто?

Тяжелее всего была вежливость. Леший, который знает, при встрече орёт. Леший, который не знает, кланяется и спрашивает, чем может служить.

— Это я, — сказала я. — Не придуривайся.

— Прошу прощения, — очень серьёзно ответил он. — Но вас не припоминаю. А я, знаете, припоминаю всех.

— Я Яга.

Слово вылетело само, как вылетает из ножен клинок: быстро, без раздумий, потому что другого оружия под рукой не было. Подбородок поднялся сам. Если нельзя назвать имя, называй должность. Пусть смотрят на то, что есть.

Он думал долго, по-лесному, с шорохом в кронах. Ждалось, что хлопнет себя по лбу и скажет: «Тьфу ты, конечно, я же тебя знаю, чего вырядилась?» Почти виделось, как это случится: широкое замшелое лицо разглаживается, узнавание выходит наружу, как солнце из-за облака. Не хлопнул. Он смотрел на меня внимательно и честно, без тени насмешки, и не находил ничего знакомого.

— Яга, — сказал он наконец. — Слыхал. Только это, сударыня, не имя, а ведовской удел. Яга у нас была, давно. Изба вот осталась, за оврагом, без хозяев бродит, грибников пугает. А самой Яги нету. Предание.

— Я — предание?

— Вы — гостья. Гостья, которая не назвалась.

Хотелось высказать всё, что думается о его памяти, его лесе и его способах заводить знакомства, но доводов не находилось. Есть только факты, а факты в этом лесу нынче принадлежали ему.

Он ждал, доброжелательно и без спешки, как ждут, пока человек вспомнит собственный адрес. Никто ещё не спрашивал имя так просто, как о чём-то, что непременно есть. А в горле не набиралось ни звука: пусто там, и проверять это ещё раз на глазах у лешего не хотелось.

Эта ссора помнилась до последнего слова. Как он, красный от гнева, стоял над пнём и тыкал в мою сторону корявым пальцем. Как в ответ кричалось про сухие сучья и про то, что дрова нужны всем. Как оба замолчали, не в силах остановиться, а потом разошлись, каждый со своей обидой, зная, что через неделю снова поссорятся из-за чего-нибудь другого. Такая была дружба. Ссоры служили вместо разговоров.

— Ты на меня три дня орал! — сказала я. — Из-за ели, которую я срубила! Она была сухая!

— Живая, — сказал леший. — На ней белка живёт.

— Не было там никакой белки!

— Была. Дуся. — Он помолчал. — Постойте. Вы сейчас сообщили, что эту ель срубили.

Поняла, что натворила, ровно на секунду позже, чем следовало.

— Я сказала «если бы».

— Вы не сказали «если бы».

— Хотела.

— Сударыня, — мягко, почти ласково произнёс леший, и от этой ласки зачесались все старые шрамы, — ель в моём лесу дело серьёзное. Запомню. Я всё запоминаю. А теперь, будьте добры, назовитесь или ступайте: гостью принимаю, а порубщицу, извините, вожу.

И улыбнулся. За долгие годы ни разу не улыбался.

Ушла. Пятилась, конечно, чтобы не поворачиваться к нему спиной, и слышала, как он говорит кому-то в кронах:

— Дуся, ты слышала? Сухая, говорит.

По тропе шла, а в горле стучало. Он запомнил ель. Не меня, а ель. Наверное, так и выглядит настоящая память леса: помнит всё, кроме тебя.

Есть в жизни ведьмы вещи попроще лешего, и одна из них ручей.

Договор, если убрать красивые слова, это слово, сказанное так, чтобы его услышали. Заключать можно с кем угодно, но начинают всегда с воды: вода не торгуется, не помнит обид и не читает мелкий шрифт. Самый простой договор такой: не мучаю тебя, ты не подмываешь мой мосток, пока текут обе стороны. Заключались такие сотни раз. Хоть с закрытыми глазами, что порой и делалось.

Ручей в овраге бежал, как всегда, деловитый, холодный, с мелкой рябью. Первый договор в этом лесу заключила здесь, у этой излучины: на коленях, замёрзшая, растерянная, с руками, которые не слушались. Ручей принял слова, серебристая нить вспыхнула и легла на воду, и впервые подумалось: тут мне рады. С тех пор прихожу сюда, когда нужно убедиться, что слово ещё чего-то стоит.

Опустилась на колени, окунула пальцы, и знакомая прохлада поднялась по руке до локтя.

— Ручей, — сказала я. — Не мучу тебя, не запруживаю, не пью до дна. Ты не подмывай мой мосток. Пока текут обе стороны, так и будет. Скрепляю именем...

И замолчала.

Обычно в этот момент имя ложится на воду тонкой серебристой нитью. Вода принимает её, и всё: договор в силе, слово стоит на месте. Нить ждалась. Пальцы держались в воде и ждали. Ручей обтекал их вежливо и без интереса, как обтекает камень.

— Скрепляю, — повторила я. — Именем.

Ничего.

Вода журчала. Кто-то далеко на дереве трещал сорокой. По берегу тянулся туман, тонкий, белый, пахнущий железом и мятой. Всё было на своих местах, всё как всегда, и только слово повисло в воздухе, никем не принятое, как письмо, отправленное по несуществующему адресу.

Попробовала иначе и выговорила «Яга» так, будто вбивала гвоздь. По воде пошла рябь и тут же разошлась. Должность, как ни крути, не подпись: должность шапка, а подписывают рукой. Тогда уколола палец, потому что кровь последний довод любого договора. Капля упала в ручей, и ручей унёс её вниз по течению вместе с песчинками и прошлогодним листом. Договора не вышло. Не вышло даже отказа. Слово просто не за что было зацепить.

Сидела на берегу, вытирая мокрые пальцы о подол. Пальцы онемели от холода. Столько лет силу считала своей: хваткой, умом, умением торговаться хоть с самим чёртом. А она держалась на одной строчке в договоре между небом и лесом. Вычеркнули строчку, и осталась женщина с кочергой, у которой слова есть, а веса у них нет. Ведьма без голоса.

Дальше думалось, как учили, без паники.

Имена теряют, забывают, меняют. Всякое видела: у кого-то имя стёрлось от болезни, у кого-то вытекло вместе с памятью, кого-то называли чужим столько лет, что своё сползло. Потерянное имя всегда оставляет след: рваные края, привкус, дыру с зазубринами, в которую можно засунуть палец и нащупать то, что было. Здесь же гладкая пустота. Ровная, чистая, без единой зазубрины. Так бывает, когда что-то не выпало, а вынули. Аккуратно, острым, по самому краю.

Имя не потеряли. Имя украли.

Мысль была холодная и совершенно ясная, как вода в ручье. Даже понравилась, как нравится любой ответ, если до этого вопрос был «что со мной?». Хуже было другое: чтобы украсть ведьмино имя, надо знать, где оно лежит, и уметь до него дотянуться. Таких в лесу немного. По правде говоря, таких нет.

Значит, вор не из леса.

Врагов, если честно, хватает. Есть болотник, которому должна ещё с прошлого века, и он с тех пор считает лихву. Есть кикимора из-за оврага, которой однажды заявила в лицо, что у неё дурной вкус на занавески. Есть Иван из соседней деревни, которому отказала в приворотном зелье, и он с тех пор всем рассказывает, что в лесу живёт ведьма. Что, между прочим, чистая правда. Но ни один из них не дотянулся бы до имени, даже стоя на табуретке.

Хорошей новостью это не было. Но вор, забравший имя, обычно приходит потом, с условиями. Решено было ждать дома.

Переодеваться не стала. Пока лес не помнит, вывернутая рубаха оставалась единственным пропуском, а возвращаться и снова кружить по осинам было лень. Домой шла в сапогах не на тех ногах, в рубахе наизнанку, с репьями в косе и с достоинством, которое сохранялось из принципа.

Изба увидела ещё издалека. Вскочила на лапы, побежала навстречу неуклюжей птичьей трусцой, поскользнулась на мокрой траве и остановилась, растопырив ставни-крылья, как курица, забывшая, зачем бежала. Впервые за два дня вырвался смех. Она ткнулась в хозяйку стеной, и хозяйка обняла тёплый, пахнущий дымом угол.

До крыльца оставалось несколько шагов, когда где-то очень высоко над лесом что-то тихо треснуло. Как лёд на реке, когда по нему ещё никто не ходил.

Подняла голову. Небо было ровное, розовое, без единого облачка.

Показалось, решила я.

Это была вторая ошибка за два дня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.